

## ПРАВДА ТАЛАНТА

### *Интервью с Антониной Александровной Никоновой*

**ФК<sup>1</sup>:** *В творчестве Николая Григорьевича поражает умение раскрыть сам дух уральской природы. И первый вопрос, который мы хотели бы задать, - откуда это чувство? Как оно складывалось, как становилось?*

**А.А.Н.:** Он родился здесь, в Свердловске. Родители его были местными, мещане настоящие. Тогда так говорили: «мещанин города Екатеринбурга». Жили они в своем частном доме: двухэтажном, низ каменный, верх деревянный. Я в этот дом пришла в 1950-м году. Дом этот был куплен Колиной бабушкой по отцу, Ириной Карповной, которая заправляла хозяйством. Дом – простой, как дом в любой сельской местности: огород, большой двор. Были и собаки, потому что отец Николая Григорьевича был охотником и держал собак - обыкновенных лаек, но очень хороших и для охоты, и для охраны. Вместе с ними рос в этом доме и Коля. В огороде посажены были две большущие березы, которые они с отцом вместе привезли из леса, маленькими саженцами

еще, конечно. Березы эти и сейчас живы. Сам дом снесли, а они остались в том районе, где теперь кинотеатр «Космос». Теперь там уже целые аллеи.

Николай Григорьевич очень любил свое детство, любил то место, где жил. Он родился не в этом районе, а был сюда привезен годовалым. Но это место и считал своим местом рождения. Этот уголок Екатеринбурга всегда был по особому уютным, домашним, словно деревня среди города. И бабушка, и мать у него держали кур. На заре кричат петухи, лают собаки. Кругом много зелени: у соседей были тополя огромные, а у нас огород спускался к речке Мельковке. Речки этой теперь уже нет, а память осталась.

**ФК:** *Его ранние произведения основаны на собственном жизненном опыте?*

**А.А.Н.:** В его прозе, конечно, не все автобиографично, но мне трудно судить. Я его встретила уже восемнадцатилетним, когда мы познакомились в пединституте, на Малышева. Я училась на втором курсе, а он – на первом. Познакомились в читальном зале. Я готовилась к экзамену по литературе XIX века, и он пришел, чтобы тоже посмотреть учебники по своему предмету. Своих-

<sup>1</sup> *Беседу вел Петров И.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры современной русской литературы Уральского государственного педагогического университета.*

то книг ведь у нас тогда не было. Вот и разговорились в читальном зале, как обычно все студенты: два-три слова сказали и разошлись. Потом уже на следующий день он пришел, заглянул в нашу аудиторию. Я думаю, что, может, в тот момент, ему и не меня нужно было видеть – мало ли у нас девчонок было. У них на курсе, когда он поступил, было человек пять мальчишек. А у нас был один единственный – Иван Акулов, тоже будущий известный уральский писатель. Вот с ним мы из одних краев: я из Туринска, он из Ирбита. 50 километров только всего разница. И причем Акулов заканчивал сначала сельскохозяйственный техникум в Ирбите. А потом, когда ему надо было учиться дальше, он пришел к нам. Он был у нас единственным мужчиной. Он был старше нас лет на пять, наверное, на войне побывал тогда. И мы относились к нему как к старшему.

**ФК:** *Жизнь студенческая была тогда очень трудной?*

**А.А.Н.:** Да, веселья мало было. Я поступила в 1947 году, который был одним из самых голодных, несмотря на то, что война кончилась. Карточки только отменили. И хлеба в магазинах не было. Мы с Николаем Григорьевичем поженились, когда он уже второй курс закончил. Он позже меня поступил. Он умел красиво ухаживать. Мы не торопились, целый год дружили, ходили везде и всюду: на каток, на лыжах. Но особенных развлечений было мало, потому что нужны были деньги. Студенты, правда, всегда студенты. Николай Григорьевич был очень увлекающимся человеком. Это проявилось уже в том, как он выбирал, куда ему поступить. У него были необыкновенные способности к музыке, к пению. Он даже пытался поступить в консерваторию. Как он позже рассказывал, «пришел в консерваторию, посмотрел, люди там все необычные – все особенные, на меня не похожие, и я на них». Он все беспокоился, что волосы у него были не шикарные, а хотелось иметь пышную шевелюру. В консерваторию же он пришел попросту бритым. Испугался, по его словам, великолепия консерватории. Там царил тишина, прохаживались солидные пожилые профессора. И он ушел отсюда. В институтах, где преподавалась математика, химия, физика он учиться не хотел. Не по его характеру это было. Единственным факультетом, где не читалось этих точных дисциплин, был филфак. Он назывался тогда историко-филологическим факультетом. Туда Николай Григорьевич поступил в 1948 году. Приходилось и много работать в то время. Когда он закончил институт, его взяли в армию на военную службу. Потом школа милиции. Только ночевать домой приходил, а так все время был на службе. Это был самый трудный период у него в

жизни вообще, потому что семье не принадлежал нисколько. Сколько мы с ним жили, он всегда стремился к свободному распорядку дня. Он был человеком свободным от рождения, не поддающимся перевоспитанию. Он сам себя воспитывал. А больше не признавал ни чьего воспитания. Потому-то ему среди военных было очень тяжело.

**ФК:** *А работа в школе?*

**А.А.Н.:** Он работал только в вечерней школе. В дневной школе он вел физкультуру и очень недолго, это очень тяжелая работа. Он больше всего преподавал в вечерней школе, чтобы оставалось время для творчества. В то время у нас уже была семья. Мы жили в том самом двухэтажном доме его детства. Тогда он был весь никоновский. А потом, когда стало трудно, голодно, дом – третью часть – продали. Получилось так, что одну часть продали, в средней жили сами, а еще – правая часть – была с квартирантами.

**ФК:** *Расскажите о первых публикациях, ведь первый цикл был очень интересным – о детях.*

**А.А.Н.:** Началось с детей, по-моему, даже случайно, потому что их жизнь прочнее, чем у взрослых, связана с природой. Без природы человек просто не может вырасти. А природу Николай Григорьевич любил больше всего. Он и сам рос среди природы, мать ему очень много читала о природе, потому что она не работала, пока он был у них маленький. Он был у них единственным сыночком, это тоже важно. Его мать держала коз и кур, чтобы Коленьку кормить свежими яйцами и молоком. Молочко, правда, он не любил, но ведь надо было что-то есть. И он привык к козьему молоку, а потом даже говорил, что его воспитала коза Манька.

**ФК:** *Тема детства, а потом «След рыси».. Как он шел к этому произведению?*

**А.А.Н.:** «След рыси» - это размышления о том, как сохранить природу, чтобы человек не утратил ничего, не забыл, чтобы он умел слушать и слышать жизнь. Это размышления уже взрослого человека о том, как люди безобразно относятся и к себе и к природе.

**ФК:** *Расскажите нам про Вашего кота. Многие вспоминают его в связи с названием «Следа рыси».*

**А.А.Н.:** У нас было два кота. И оба Васи, почти одинаковые. Одного из них Николай Григорьевич назвал даже котом-«соавтором». В его кабинете был стол, за которым он сидел, работал, а кот сидел на другой стороне стола. Утром Коля шел писать и говорил: «Ну, Вася, пошли работать». И кот идет, садится. Есть даже фотография, где кот печатает на машинке: лапой задевает кнопки, и что-то там у него получается. Это был настоящий творческий кот-соавтор.

**ФК:** *Когда мы читаем прозу Николая Григорьевича, мы вспоминаем Пришвина, «Аленушкины сказки» Мамина-Сибиряка, Паустовского.*

**А.А.Н.:** Как-то в одной из газетных публикаций Николая Григорьевича назвали уральским Пришвиным. Он пришел домой и говорит: «Знаешь, у меня теперь какой титул есть? Я теперь не Никонов, я теперь «уральский Пришвин». Он считал, что Пришвин природы не знает, потому что написано, например, в одной из его книг: «Он пошел в лес, и какой-то малый пташек красиво так пел надо мной». И сколько Николай не искал, в книгах Пришвина ни одна птичка не названа. Живых птиц, по мнению Николая Григорьевича, Пришвин совсем не знал. А Коля любил птиц с детства. Он знал каждую птичку. Летом мы ездили с ним на дачу, которой в этом году исполняется тридцать восемь лет. Она расположена здесь за Среднеуральском – в 4-х км. Обычно мы ехали на электричке, но последние четыре-пять километров обязательно шли пешком. Коля знал каждую птичку по голосу, он меня всегда учил: «Вот это она около гнезда поет. Если она вскрикнула вот так, это значит, где-то какая-то есть опасность. А это она поет просто так – жизни радуется: на краю где-то сидит на березе, на ветке. Просто там у нее птенцы или еще мало ли что. Она просто для себя поет и радуется. А где-то нечаянный такой крик – все замолкли, значит где-то коршун летит». Присмотришься – обязательно увидишь, что он прав.

**ФК:** *В его прозе действительно чувствуется музыкальный дар, способность слышать живые голоса. Как писал А. Макаров, первым откликнувшийся на произведения Николая Григорьевича, ему свойственно «ласковое обращение» с природой. Это точно найденное слово.*

**А.А.Н.:** Макаров говорил сам, что когда читаешь Никонова, много знаний получаешь о природе, потому что на каждой строчке он дает точное имя птице и описывает ее голос. Так он пишет и о деревьях, и о цветах. У него особое отношение к цветам – он сам их собирал: и кактусы, и орхидеи. Орхидей у него было очень много. Это очень сложные, самые сложные, прихотливые растения. Их немного осталось, всего пять или шесть видов. Растение-то ведь невзрачное, но как красиво цветет! А чтобы оно зацвело, за ним ухаживать надо. Николай Григорьевич и это умел.

**ФК:** *А птицы жили в доме?*

**А.А.Н.:** Птиц у нас много было. Он сам делал клетки, высокие, длиннее стола. В клетке птиц жило очень много. Вначале в этой клетке жили только одни синицы, а ведь синицы есть разные: наша обыкновенная кузенька, потом – зеленая лазоревка, есть длиннохвостая, белая лазоревка. Жили у нас и щеглы, и чижи, и чечет-

ки. Чечеток он держал только в детстве. Потом мы ездили с ним на Кавказ, в Хосту, и оттуда привезли двух птенцов черного дрозда. Он поет очень хорошо. Мы каждый день приходили к этому гнезду, которое было в лавровом кусте. Куст стригут на чай, и он гладким становится. К нему прикоснешься, обязательно уколешься – веточка очень сухая, лист молодой. И где-то в серединке его гнездо – почти незаметно. Надо быть очень внимательным. Мы с Николаем Григорьевичем искали по пisku. Мы ждали, когда птенцы подрастут. Их в таком возрасте не берут на воспитание. Они не выдержат. Ведь еще не известно, чем их кормят, что приносят. Мы тогда приехали, а надо было, чтобы они чуть-чуть подросли, чтобы они могли взяться за искусственный корм. Тогда мы решили, что накопим земляных червей, а они этих червей едят. Если они очень маленькие, то червей можно разрезать. Здесь-то мы уже выращивали специальных червячков для них. Еще у нас в углу росла настоящая елка, на ней чиж и чижевка вывели 4 птенчика. Потом мы их выпустили. Причем, когда их стали выпускать, первой улетела мамаша, потом папаша. А птенцы есть захотели, кричат. Я в молоке развела хлебную булку, они уселись мне на руку, наелись. Я их так и унесла в лес. А они устроились на теплой ладошке и никак от меня не уходят.

**ФК:** *А историческая тема? Ведь Николай Григорьевич в последние годы обратился именно к ней.*

**А.А.Н.:** По образованию он и был историком. Начал преподавать в школе историю.

**ФК:** *Мы знаем, что в семидесятые годы не все разрешалось говорить, и происходившее с повестью «Старикова гора» иначе, как трагедией назвать нельзя.*

**А.А.Н.:** «Старикова гора» – это страшно. У Николая Григорьевича было кровоизлияние в глаз. В то время встаешь утром, читаешь свежую «Правду» и видишь: новое идеологическое постановление, идеологический фронт, идеологическая борьба. Выступит М. Суслов, и на целый день в глазах столбики газетные. Просто страшно было. Если человек не был связан с книгами, не писал ничего, его это не касалось. А как жить творческому человеку? И в 50-ые, в 60-ые, и в 70-ые головы можно было лишиться моментально. И даже не поймешь: за что? Если даже будешь просто честным человеком в те годы, то тебя объявят врагом народа. Выходишь на улицу Якова Свердлова. Радио на весь город. Идет какой-то съезд, и слышишь голос Хрущева: «Сидели и будем садить». Нельзя было ничего написать по-человечески. Написал Николай Григорьевич в какой-то книге слово «хрущ». Есть в классификации жук такой – хрущ. Редактор ему го-

ворит: «Николай Григорьевич, не намек ли это на кого-нибудь?» Атмосфера была не лучше, чем в годы сталинские.

**ФК:** *В семье он как-то это обсуждал, когда писал повесть «Старикова гора»?*

**А.А.Н.:** Когда писал, он просто переживал в душе – переживал за состояние страны и нашей природы. Переживал будто за родного человека, за свою семью. Это действительно было колоссальной трагедией. В нем словно сидел какой-то внутренний редактор, который точил его изнутри: «Я почти уже все из себя выгрыз. Остались какие-то крохи, и то никак нельзя». А ведь когда внутри тебя сидит внутренний редактор, и уже знаешь, что написанное не опубликуют, то многого уже и не пишешь. «Старикова гора» не осталась бы, если бы он все написал, в три раза больше. Он все сам первый уничтожил. Это был бы роман, а не просто повесть. Было даже так, что он прятал написанное. На столе не оставлял. Уже в то время он задумал серию «Ледниковый период». В эту серию он собрался включить романы «Весталка», «Чаша Афродиты», «Стальные солдаты», а четвертый – роман «Бытие».

В 70-ые годы его после «Стариковой горы» называли внутренним диссидентом. Мы уехали во Францию. Без нас собрали заседание горкома коммунистической партии, прекрасно знали, что нас здесь нет, что мы уехали. Обсуждали повесть Никонова, а его не пригласили. Как без него-то обсуждать? Даже врагов народа и тех приглашали на судебный процесс – была возможность ответить. Ельцин, в то время первый секретарь, сказал, что если мы Никонова здесь не напечатает, то он передаст эту повесть куда-нибудь за рубеж, тогда партии будет еще хуже. А сколько вытерпела редакция журнала «Урал», который напечатал «Старикову гору»? Тогда ее возглавлял В.П. Лукьянин, и в этой ситуации он проявил себя честным и мужественным человеком

**ФК:** *Что было, когда вы приехали из поездки?*

**А.А.Н.:** Никто ничего не говорил, и даже в «Урале» молчали. Это потом перенеслось еще на Москву, где было обсуждение журнала «Урал». Не Никонова, а журнала! Мы поехали туда. Георгий Марков и другие заседали в отдельной комнате. А я осталась в коридоре. Надо было мне

пойти, и меня бы никто не выгнал. И когда они вышли, я кинулась к председателю и спрашиваю: «Ну что, Никонова в живых оставили?» Он говорит: «Не беспокойтесь. Мы ведь не звери, мы все понимаем».

**ФК:** *Где он больше любил писать?*

**А.А.Н.:** Писал только в городе. Больше он нигде не мог писать. Мы купили маленькую хибарку. Все хотелось из нее сделать «дворец». Но в первую очередь решили посадить деревья. На тележке из леса привезли берез, сосен. Николай Григорьевич все сам построил: дом, начиная с фундамента, низенький, одноэтажный. Такой он некрасивый, как сарай. Он называл его «фанзой». Целое лето ходил и говорил: «Не могу я смотреть на эту фанзу». Сам взял карандаш, сам начертил дом и потом сам все перестроил.

**ФК:** *Ваше любимое произведение Николая Григорьевича?*

**А.А.Н.:** Мне больше всего нравится у него роман о Сталине «Стальные солдаты», опубликованный в 90-е годы в «Урале». Еще нравится фрагмент из «Чаша Афродиты», где речь идет о Болотникове. Этот кусок я знаю наизусть.

**ФК:** *Николай Григорьевич читал Вам что-нибудь вслух?*

**А.А.Н.:** Все время. Николай Григорьевич любил пробовать свое слово и на слух, и меня все время этим испытывал. Но я бы сказала, что это нелегко – дать оценку труда писателя. Он ведь читал для того, чтобы я сказала, как это на слух, нравится мне это или не нравится. Прямо ведь не скажешь, боишься обидеть. Он все спрашивал: «А что тебе больше всего понравилось? А что совсем не понравилось?» Я не все говорила, потому что он все равно не переделает никогда. Он все равно будет стоять на своем. Внутри у него словно стержень, который никуда не сдвинешь. Но я всегда знала, что если бы он плохо написал, он бы мне не прочитал. Во всем: и в быту, в повседневном общении, и в своем творчестве – Николай Григорьевич был правдивым человеком, он не мог солгать, как бы трудно ни было. И он никогда не лгал ни своим близким, ни в своих книгах. Знаете, он никогда не хотел памятника, ведь лучшим памятником писателю становятся его книги.

## Николай Никонов «ВЕСНА БЛАГОДАТНАЯ»<sup>1</sup>

Я родился в ледяную черную, осененную звездами ночь, недалеко от праздника Николы Зимнего, великого Чудотворца, и до сих пор по истине своего знакомого и незнаемого существования чту этого Величайшего Святого. Даже икона Его главная, чудотворная и великая, известно мне. Огромная, привезенная чуть ли не из Византии, она явилась в наш город, и он стоял на поклонении сему чуду, от которого и на неблизком расстоянии шел великий исцеляющий тело и душу ток. Дивная сила величайшего святого и дала, видимо, бытие мне, ибо у матери моей величаво-задумчивой полной женщины с чистым ликом какой-то неглавной античной богини не было детей и после восьмилетнего замужества.

Но в 1930 странном году мать объявила себя беременной к вящему удивлению свекрови, моей бабушки по отцу, давно отчаявшейся нянчить внуков и, как гласило семейное предание, к вящему страху моего отца, уже свыкшегося с прелестями вольготно-бездетной жизни. Кажется, отец даже не хотел, чтобы мать родила (не берусь судить, не моё), но мать, помня, может быть, о горькой ошибке своей сестры, оставшейся навсегда бездетной после аборта, заявила, что будет рожать. С характером Богини не спорили: А мать мою звали Елена.

А полночь, когда я рождался, меж девятым и десятым декабря (картежники поймут символику чисел), была, видимо, действительно пронзительно холодной, чернобездонной и, представляя такую (и эту) ночь, я вполне ясно вижу, как апостольски горели в ту полночь над роддомом звезды и как стоял, осеняя сие странное людское строение, могучий иксодный Орион со своим волшебным трехзвездным поясом – созвездие художников, охотников и мудрецов-отшельников... Не знаю, соотносим ли Орион с зодиакальным созвездием Стрельца, под которым я родился, но в числе двух-трех еще других созвездий, украшающих наше северное небо, я всегда считал Орион *своим* и каждую осень ждал его явления над восточным горизонтом, а в глухие зимние ночи без сна любовался им. Его начертанием и даже его именем. Хотя первым моим любимым созвездием была Большая Медведица.

Я хорошо помню, как мать, бывало, приводила меня к этому и ныне сохранившемуся двухэтажному зданию, к третьему или четвертому, считая от левого угла, окну нижнего этажа и говорила: «Вот тут ты родился». Понимаю, что не тут, но, очевидно, была здесь родильная палата, а мать всегда добавляла, что мороз был страшный.

И несмотря на этот холод, к окну передать через форточку записку и передачи приходил некий старик дядя Емеля, старший брат моей бабушки, живший в семье на положении дворника и приживальца. Может ли быть такое, что первым моим жизненным впечатлением было серое, доверху задернутое толстым инеем замороженное окно? Но именно так представился мне вход в мир в роддоме на Златоустовской улице, а ныне улицы Розы Люксембург, пламенной революционерки, какое эта революционерка имела отношение к Екатеринбург, непонятно и сейчас.

Если первое впечатление моей жизни – пасмурное, замороженное окно и более ничего, то второе и уж совсем четкое представление – я на руках у матери, упираюсь в ее мягкую грудь и вижу комнату с окнами, залитую уже явным спокойным светом, а за столом кудлатый старик что-то говорит мне несомненно ласковое и показывает русскую «козу». Воспоминание абсолютно точное, и мне, видимо, нет еще году. Узнаю, что старик тот дядя Емеля – Емельян Карпович Колотов, жил тогда у своей сестры, моей бабушки Ирины Карповны.

И вот я вижу себя уже полуторогодовалым на весеннем, залитом солнцем крыльце. Вижу за крыльцом синий снег, я в нем еле двигаюсь в тяжелой шубе, неудобных валенках, а рядом со мной ходит так же одетая девочка, и впервые я слышу ясно и понятно слова: «Ходят. Вместе ходят!» Это мои первые воспринятые слова.

Следующие воспоминания абсолютные по точности. Утро. Стол. Самовар. Лица отца, матери, бабушки. И разговор: «Вот да, умерла Аллилуйева. Говорят, она жена Сталина. Почему у нее такая странная церковная фамилия?» Никто о ней ничего не знает (это я от себя). Но, значит, мне еще нет двух лет (начало ноября. Год 1932).

Следующее воспоминание: широкий, заросший осокой заливной луг, посередине которого вьется – бежит мелкая речка. Жара. Мой отец косит осоку на сено и поглядывает на небо, где большая темно-серая туча надвигается. Холодеет. Мать держит меня за руку. В другой руке у меня шевелится черный колючий жук. И счастливый, редкий, будто галечный дождь, гонящий нас к

<sup>1</sup> Глава из неоконченного романа «Бытие, или Четыре жизни Николая Мельковского».

дому под еще прерывное, под лишь подступающее ворчание грома. И запах, запах, *запах* дождя. Счастливый запах! Счастливый шадящий нас дождь. Счастливая тьма тучи! И счастливое небо, налево белеющие где-то к северу по-за краем тучи.

Зачем так все хранится во мне? Зачем? Хоть вот этот цвет неба под уходящей тучей? И обвал грома сразу вслед за мигнувшей молнией.

Итак, вхождение мое в жизнь всего лишь для меня и, может, еще для двух-трех человек на всей Земле – состоялось. И сколько потом в самом раннем возрасте и во взрослом, и ныне еще я раздумываю над этим таинством. И не нахожу ясных решений. Зачем я? И кто я? И почему куда-то течет моя уже долгая жизнь, определенная странным понятием: *Время*. Я знаю, что меня вроде бы не было, а, значит, и не было времени? Или все-таки и тогда оно было, менялась Земля, растения, животные, реки и горы, сдвигались и расползались материки, менялись и расширялись океаны... Все менялось... А меня не было? Да, глупости.. **Был я всегда..** Везде и всюду **был** и всегда буду, потому что пришел из реальной цепи жизни, ее органичным звеном, но если так, то как далеко тянется эта цепь рождений - перевоплощений, ведь она уйдет к истокам земного, а оттуда в космос, а в космосе без конца **в куда? В Куда?**

По-видимому, **Природа, Судьба, Бог** или так называемое **Провидение** о бесконечное, бесконечно-точное, абстрактно непостижимое слово! вели меня своим непредсказуемым путем, и я лишь подчинялся этому пути, был в нем как несомый течением и даже сам пытающийся плыть, но .. в куда? Я лишь подчинялся этому пути. А что оставалось делать?

Младенческое бытие. Кому интересно оно, кроме самого себя? Или таким же, как я? А они есть? Наверное.. есть. Они должны быть. Но у них свой путь и все равно отличный от моего, и они плывут им, и у них свои открытия жизни.

Младенческое бытие. Почему я так хочу помнить и открывать и хранить его, как вот ту темно-серую дождевую тучу и то белеющее, желтеющее под нею, бесконечно счастливое давно обещающее и сулящее. И дождь, стучающий по мне через рубашку холодными и как бы пробуждающими к жизни каплями **к Жизни**.

Забывтое время... Хранящееся в памяти время... Бегущее время... Где-то, не знаю где, есть его эталон. И в этом эталоне должно сохраниться все, обозначенное и без обозначения... А иначе, - зачем он? И зачем **оно**?

Когда-то, много позже я нашел утверждение, что люди, близкие к гениальности (это не обо мне) поняли свою жизнь всю, от начала и даже помнят свои прежние воплощения, прежние звенья временной цепи (Я – до Меня и гораздо раньше меня). Так ли это? И не выдумка ли досужих мыслителей. Но почему-то и я, углубляясь в размышления – воспоминания, *видел* (и всегда вижу) широкую мелкую и быструю на перекатах реку, на противоположном берегу которой высились лесистые горы, а на *моем*, равнинном, стояли, удаляясь друг от друга длинные, низкие строения, нет, не избы, а, должно быть, «фанзы» (которых я никогда не видел!) и никогда не жил и не был на Дальнем Востоке. Желание побывать там было главным образом благодаря Арсеньеву с его Дерсу, - и с желанием привезти в коллекцию (я всегда был отчаянным коллекционером!) оттуда огромных бабочек сине-зеленых махаонов Маако и гигантских реликтовых жуков – усачей. А дальше, вопрошая эту генетическую (наверное, не так!) прапамять, напрягая ее, получал ответ: был женщиной молодой, гибкой, красиво-раскосой и жил именно там, у той быстрой реки.

Упрятав, но, храня картину – догадку подальше и глубже, я никогда не придавал ей большого значения. Но вот как-то перевалив за полвека, вдруг заинтересовался книгой «Люди и судьбы», где была собрана всякая и всяческая гадательно - астрологическая смесь, и был раздел - определение «Кем Вы были в прошлом?» Не слишком веруя во все это, я, однако, произвел, необходимые вычисления и в графе: «Кем вы были, когда жили и где». Получил ответ – были женщиной. Жили в начале девятнадцатого века. В Корее!

Такое неожиданное подтверждение. *Подтверждение?*

А сейчас снова потревожу свою дальнюю память, что как сердцевина дерева спрятана в глубине, в основе, под всеми теми кругами, какие наслоило бытие. Человек, наверное, во многом подобен дереву, и мысль эта тревожит меня и сейчас. Я даже представляю себя таким деревом, но не по гороскопу друидов, а просто *деревом*, какие я люблю липы, березы (большие и старые), вольные сосны с елями, люблюсь подчас, хотя к последним не чувствую сугубого родства, роднее всего липа – вообще нечто большое, древнее, лиственное и соответствующее каким-то моим внутренним необъяснимым желаниям.

Дерево... Может быть, в них, *деревьях*, хранятся какие-то совсем далекие и прошлые наши существования? Возможно, растения мы просто еще *не знаем, не доросли* до их понимания, их свя-

тости, терпения, истин существования. Почему, думается, что именно дерево или гора, скала и есть высший символ миропонимания, и, наверное, дереву или горе должен быть во многом подобен истинный философ. **Дереву или горе.** И совсем недаром истинные мудрецы и отшельники уходили в леса и в горы! А какое мужество мудрости необходимо для такого. И кто ныне способен на это? Так далеко увела меня дорога памяти и размышлений от картин младенчества. О, младенчество, пасмурный ли твой мир, как писал когда-то Иван Бунин, или, напротив, ясный и нетленный живет во мне и постоянно воскрешает твои образы: дождь ли идет долгий, ненастный... Как люблю, с детства люблю дождь, гром ли раскатывает небесную холмистую синеву, ветер ли шумит, а то и воеет голосом ночной нечисти, а я слушаю его страшноватые веяния на теплой кирпичной лежанке... Все это живо во мне, бережно хранится моей памятью-любовью. Вот помню большую белую саблерогую козу с огромным не по телу выменем. Этим выменем, козьим молоком, я вскормлен. У родной моей матери почему-то не было молока. И коза с распростецим именем Манька, да еще, кажется, вторая – ее дочь с полосатой смешливой ее мордочкой сельской блудницы и кормила меня лет до четырех... После чего я навсегда отказался от молока (не пью его и теперь), но другие, еще более прозаические кормилицы из мира животных давали мне пищу. Это были многочисленные, опять же материны куры, которые странно любили меня и даже грозный строгий их страж и обладатель, гнедой расписной петух – султан, налетавший, бывало, на мать и на бабушку, никогда не трогал меня, лишь косил разбойно-раздумчивым глазом, может, чуял какое-то дальнее родство (смеюсь).

Раздумывая над своим прошлым, я всегда прихожу к одному выводу: кто-то вышний, не обозначаемый явно, словно вел меня и давал пищу моему уму, и моим чувствам, и моему вселению в этот прекрасный многообразный и многоступенчатый мир, - иным не объяснить, почему я, родившись на ничем не примечательной Златоустовской улице и проведя немногим меньше года в доме, который я не помнил и не вспоминая (дома этого нет сейчас и нет в памяти), точно вынырнул из небытия в доме бабушки, совсем недавно ею купленном в живописнейшем месте старого Екатеринбурга, слободе Мельковке, чудом сохранившей остаток задержавшегося здесь спокойного девятнадцатого века. О, Мельковка, - это по речке, впадавшей в городской пруд! Огороды и сады, тополями и рябинами склоненные к воде. Старые и разнообразные дома и избы.. Здесь была основа города, и даже улица, соседняя с нашей, и называлась Основинская. Запах коровьего стада, старых черемух, моховых тесовых крыш, запах речки и болотных луговин. Сельский пейзаж в черте города и вся его прелесть: чистый воздух, бегущая речная вода, летающие вечерами жуки, скрип коростеля (на том лугу у пруда, где отец косил сено). Снегири в оснеженных старых садах, свистели и шуры, и цвенькающие на все лады белощекие насмешницы-синицы, и – Боже мой, какое богатство еще жизни природной, не тронутой, не пуганной, не растоптанной и не загаженной многолюдным городом, бережкам, садам и пустырям, заросшим гусиной травкой и одуванчиком тихим улицам – блаженным и господним местам на Земле... Все было тут. Был тут еще благословенный и в общем спокойный девятнадцатый век и будто бы не тронутый еще моровым оледенением революций века двадцатого.

Революции! Их готовили и вершили недалекие фанаты, одержимые бесовщиной власти и покорения сатанинской жаждой разрушения и несправедного обогащения. Во главе их становились отъявленные негодяи с печатью Антихриста на челе. Кто, как не Сатана, вел их? И кто из них уцелел, продав дьяволу свою душу!